

М. О. ГЕРШЕНЗОН

СТАТЬИ О ПУШКИНЕ

Со вступительной статьей
Леонида Гроссмана
ГЕРШЕНЗОН — ПИСАТЕЛЬ

Плагиаты Пушкина

В июне 1821 года Пушкин из Кишинева просит брата Льва прислать ему «Тавриду» Боброва. На что могла бы ему понадобиться жалкая поэма бездарнейшего из шишковистов, пьяного, тупого, напыщенного Бибруса, которого он знал уже в Лицее и над которым вдоволь насмеялись и Батюшков, и Вяземский, и он сам, начиная с 1814 года («К другу стихотворцу»)? Но брат прислал ему книгу Боброва: «Таврида, или мой летний день в Таврическом Херсонисе, лирико-эпическое песнотворение, сочиненное капитаном Семеном Бобровым», Николаев, 1798. Ужасающие вирши этой поэмы лишены рифм: Бобров принципиально отрицал рифму, и все его поэмы писаны белым стихом. В то время Пушкин несомненно уже задумал «Бахчисарайский фонтан». Прочитал ли он всю «Тавриду» (в ней ни мало, ни много 278 страниц), или почитал в ней только местами, но он что то выклевал в ней и сложил в свою память. Год спустя он писал «Бахчисарайский фонтан»; и вот, когда поэма была готова и послана Вяземскому для издания, Пушкин — по поводу употребленного им в «Фонтане» слова „скопец“, которое Вяземский нашел неудобным для печати:

Там, обреченныс мученью,
Под стражей хладного скопца,
Стареют жены...

пишет Вяземскому (в ноябре 1823 года): „Меня ввел в искушение Бобров; он говорит в своей Тавриде. «Под стражею скопцов Гарема». Мне хотелось чтонибудь у него украсть“. У Боброва сказано:

Иль заключенные сидят, —
Как бы Данай в медных башнях,
Под стражею скопцов в Гаремах.

Эта умышленная кража стиха у несчастного Боброва — что это? простое озорство? Но П. О. Морозов в примечаниях

к «Бахчисарайскому фонтану» (в Академическом издании сочинений Пушкина) указал, что Пушкин, вероятно, заимствовал у Боброва имя Заремы, переделав его из Зарены Боброва; мало того—что уже совсем поразительно—несомненное заимствование из «Тавриды» Морозов открыл в седьмой главе «Онегина», в строфе столь вдохновенной, что казалось бы, немислимо заподозрить ее оригинальность; первые строки 52-й строфы:

У ночи много звезд предестных,
Красавиц много на Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве —

эти строки несомненно восходят к стихам Боброва:

О, милостивая Зарена!
Все звезды в севере блестящи,
Все дщери севера прекрасны;
Но ты одна средь их луна.

«Тавриду» Пушкин читал в 1821 году, — ту Онегинскую строфу писал в 1828-м; как же зорко он читал даже такую дрянь, и какая память на чужие образы и стихи!

Как известно, в своих примечаниях к «Онегину» Пушкин сам вскрыл ряд поэтических припоминаний и цитат, заключенных в его романе. Если присмотреться к этим местам, они в своей совокупности обнаруживают одну особенность Пушкина, какой, если не ошибаюсь, мы не встречаем ни у какого другого поэта равной с ним силы; именно, оказывается, что его память, хранившая в себе громадное количество чужих стихов, сплошь и рядом в моменты творчества выкладывала перед ним чужую, готовую поэтическую формулу того самого описания, которое ему по ходу рассказа предстояло создать. Описывает ли он летнюю ночь на Неве, — он вспоминает соответствующее место в идиллии Гнедича; хочет ли изобразить Онегина стоящим на набережной, — память автоматически подает ему строфу Муравьева о поэте, —

Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит;

пристает ли к изображению зимы, — он вспоминает «Первый снег» Вяземского и описание зимы, в „Эде“ Баратынского; нужно ли ему описать наступление утра знаменательного дня, память услужливо напоминает стихи Ломоносова: „Заря багряною рукою“ и т. д.; только написал стих: „Теперь у нас дороги плохи“, — и вспомнил стихи Вяземского: „Дороги

наши — сад для глаз“... Гёте и Байрон, Тютчев и Фет совершенно свободны от этой литературной обремененности. В Пушкине она была чрезвычайно велика, и характерно, что он несколько не боялся ее, напротив — свободно и, повидимому, охотно повиновался своей столь расторопной памяти. Припомнилась строфа Муравьева — и Пушкин так легко переплавляет ее в свои стихи:

С душою, полной сожалений,
И опершись на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит;

припомнились кстати стихи Ломоносова, — Пушкин пускает их в дело:

Но вот багряною рукою
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.

Эти заимствования указаны самим Пушкиным в его примечаниях к «Онегину»; но вот ряд заимствований в том же романе, Пушкиным не отмеченных, т. е. утаенных, следовательно, по принятому словоупотреблению, — плагиатов. И всюду та же картина: дойдя до некоторого описания, Пушкин тотчас непроизвольно вспоминает тожественную или сходную ситуацию в чужом поэтическом произведении и стихи, которыми тот поэт описал данную ситуацию; так, представший его воображению образ: море — волны — любимая девушка — ее ножки — тотчас, как бы по условному рефлексу, вызывает в его памяти соответственную картину и стихи в «Душеньке» Богдановича:

Гонясь за нею, волны там
Толкают в ревности друг друга,
Чтоб, вырвавшись скорей из круга,
Смиренно пасть к ее ногам, —

и Пушкин без стеснения перефразирует эти стихи (Онегин. I. 33):

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам.

Или хочет он изобразить веселую гурьбу ребят на воде — он вспоминает из той же «Душеньки» сходный образ:

Тритонов водяной народ
Выходит к ней из бездны вод, —

и пишет пародируя, (Онегин. IV 42):

Мальчишек радостный народ...

и дальше:

Задумав плыть по лону вод...

или, описывая Москву, вспоминает стихи из описания Москвы у Батюшкова (К Д. В. Дашкову, 1813 г.):

И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы, —

и повторяет последний стих (Онегин. VII 38):

Прощай, свидетель нашей славы,
Петровский замок!

Прежние исследователи, в особенности В. П. Гаевский, Л. Н. Майков, П. О. Морозов и Б. Б. Никольский, обнаружили у Пушкина, даже в поздние периоды его творчества, не мало поэтических реминисценций, преимущественно, правда, из французских поэтов. Он несравненно обильнее черпал у своих русских предшественников и даже современников, и мы еще далеки от правильного представления о размерах этой его практики, — о количестве и бесцеремонности его заимствований. Я приведу ряд русских заимствований Пушкина, до сих пор, кажется, не обнаруженных.

Он начал: „Богат и славен Кочубей“, — хочет сказать: „богат по украински“, память подает ему украинские стихи Рылеева («Петр в Острогоске», напеч. в 1823 г.):

Где в лугах необозримых
При журчании волны
Кобылиц неукротимых
Гордо ходят табуны. —

он берет строфу и лепит из нее свои стихи:

Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, не хранимы.

Ему понадобилось напомнить о том, как Олег прибил свой щит к воротам Константинополя, — он берет четверостишие Рылеева («Олег вещей», напеч. в 1822 г.):

Но в трепет гордой Византии
И в память всем векам
Прибил свой щит с гербом России
К Царьградским воротам —

и воспроизводит их стих за стихом (Олегов щит, 1829 г.):

Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На Цареградских воротах.

Из его писем мы знаем, что он в Кишиневе читал «Сын Отечества»; и вот, в 1821 году он прочитал в этом журнале стихотворение В. Филимонова «К Леоконие», перевод оды Горация; восемь лет спустя он вспомнит отсюда три стиха:

И разъяренные валы,
Кипящи пеною седою
Дробят о грозные скалы, —

и начнет свой (Обвал. 1822) перифразом этих стихов:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы.

Желая выразить свое удивление пред идиллиями Дельвига, он вспомнил стихи старого В. Капниста, хвалу Батюшкову за то, что он

в хладном севере на снеге
Растил Сор(р)ентские цветы.

(в Послании к Батюшкову), и в своей эпиграмме повторил этот образ (Загадка):

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?

Стих Батюшкова (Элегия, из Тибулла, 1814 г.):

На утлом корабле скитаться здесь и там

вспомнился ему в 1836 году, и он воспользовался им („Из Пиндемонте“):

По прихоти своей скитаться здесь и там.

В «Полководце», по поводу Баркляя де Толли, он неожиданно вспоминал стих Княжнина, из его „Послания от Рифмоскрыпова дяди“:

Ты помнишь ли врача, достойна слез и смеха?..

— и повторил его по своему:

О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха.

В урочную минуту он вспомнит стих И. И. Дмитриева — тоже о портрете (о портрете гр. Румянцова):

Украшу им свою смиренную обитель,

и скажет (в Мадонне):

Украсить я всегда желал свою обитель.

и дальше — у Дмитриева (К гр. Н. П. Румянцеву, 1798 г.) и у Пушкина одна и та же рифма: зритель).

Надо заметить, как часто заимствование сопровождается у Пушкина тожеством стихотворного размера; в этом отношении последние три случая особенно разительны. Таково же и следующее заимствование у Державина; его стих, из «Водопада»:

Что в поле гладком, вокруг отверзтом

как и самый размер, мы находим в Пушкинском наброске 1830 года:

Как быстро в поле, вокруг открытом...

Стих в «Туче» Пушкина, так не нравившийся Толстому и Тургеневу:

И молния грозно тебя обвивала

заимствован у Дмитриева, из перевода 3-й оды, 1-й книги Горация (1794 г.):

И стрелы молний обвивали
Верхи Эпирских грозных скал.

(Любопытно это как бы сомнамбулическое перенесение эпитета «грозный», от скал к самой молнии)

У того же Дмитриева (из стих. «Мой друг, судьба определила», 1788 г) Пушкин заимствовал стих:

И жар к поэзии погас,

слегка изменив его:

Но огонь поэзии погас
(Эпизод Руслана и Людмилы).